

---

## ГОГОЛЬ

*(Жуковский, Крылов, Лермонтов, Загоскин)*

Меня свел к Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Помню день нашего посещения: 20-го октября 1851 года. Гоголь жил тогда в Москве, на Никитской, в доме Талызина, у графа Толстого. Мы приехали в час пополудни; он немедленно нас принял. Комната его находилась возле сеней направо. Мы вошли в нее — и я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке. Он был одет в темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны. За неделю до того дня я его видел в театре, на представлении «Ревизора»; он сидел в ложе бельэтажа, около самой двери — и, вытянув голову, с нервическим беспокойством поглядывал на сцену, через плечи двух дюжих дам, служивших ему защитой от любопытства публики. Мне указал на него сидевший рядом со мною Ф. Я быстро обернулся, чтобы посмотреть на него; он, вероятно, заметил это движение и немного отодвинулся назад, в угол. Меня поразила перемена, происшедшая в нем с 41 года. Я раза два встретил его тогда у Авдотьи Петровны Е-ной. В то время он смотрел приземистым и плотным малороссом; теперь он казался худым и испитым человеком, которого уже успела на порядках измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно проницательному выражению его лица.

Увидев нас со Щепкиным, он с веселым видом пошел к нам навстречу и, пожав мне руку, промолвил: «Нам давно следовало быть знакомыми». Мы сели. Я — рядом с ним на широком диване; Михаил Семенович на креслах возле него. Я попристальнее вгляделся в его черты. Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покато́го, гладкого, белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших

57

карих глазах искрилась по временам веселость — именно веселость, а не насмешливость; но вообще взгляд их казался усталым. Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами; в их неопределенных очертаниях выражались — так по крайней мере мне показалось, — темные стороны его характера: когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий бархатный галстук. В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессорское, а учительское — что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях. «Какое ты умное, и

странное, и больнее существо» — невольно думалось, глядя на него. Помнится, мы с Михаилом Семеновичем и ехали к нему как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове... вся Москва была о нем такого мнения. Михаил Семенович предупредил меня, что с ним не следует говорить о продолжении «Мертвых душ», об этой второй части, над которою он так долго и так упорно трудился и которую он, как известно, сжег перед смертью; что он этого разговора не любит. О «Переписке с друзьями» я сам не упомянул бы, так как ничего не мог сказать о ней хорошего. Впрочем, я и не готовился ни к какой беседе — а просто жаждал видеться с человеком, творения которого я чуть не знал наизусть. Нынешним молодым людям даже трудно растолковать обаяние, окружавшее тогда его имя; теперь же и нет никого, на ком могло бы сосредоточиться общее внимание.

---

Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь не словоохотлив; на деле вышло иначе. Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая каждое слово, — что не только не казалось неестественным, но, напротив, придавало его речи какую-то приятную вескость, впечатлительность. Он говорил на *д*, других для русского слуха менее любезных особенностей малороссийского говора я не заметил. Всё выходило ладно, складно, вкусно и метко. Впечатление усталости, болезненного, нервического

беспокойства, которое он сперва произвел на меня, — исчезло. Он говорил о значении

58

литературы, о призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям; высказал несколько тонких и верных замечаний о самом процессе работы, о самой, если можно так выразиться, физиологии сочинительства; и всё это — языком образным, оригинальным — и, сколько я мог заметить, нимало не подготовленным заранее, как это сплошь да рядом бывает у «знаменитостей». Только когда он завел речь о цензуре, чуть не возвеличивая, чуть не одобряя ее как средство развивать в писателе сноровку, умение защищать свое детище, терпение и множество других христианских и светских добродетелей, — только тогда мне показалось, что он черпает из готового арсенала. Притом доказывать таким образом необходимость цензуры — не значило ли рекомендовать и почти похваливать хитрость и лукавство рабства? Я могу еще допустить стих итальянского поэта: «*Si, servi sîam; ma servi ognor frementi*»<sup>\*</sup>; но самодовольное смирение и плутовство рабства... нет! лучше не говорить об этом. В подобных измышлениях и рассудительствах Гоголя слишком явно выказывалось влияние тех особ высшего полета, которым посвящена большая часть «Переписки»; оттуда шел этот затхлый и пресный дух. Вообще я скоро почувствовал, что между

---

<sup>\*</sup> Мы рабы... да; но рабы, вечно негодующие.

миросозерцанием Гоголя и моим — лежала целая бездна. Не одно и то же мы ненавидели, не одно любили; но в ту минуту — в моих глазах всё это не имело важности. Великий поэт, великий художник был передо мною, и я глядел на него, слушал его с благоговением, даже когда не соглашался с ним.

---

Гоголь, вероятно, знал мои отношения к Белинскому, к Искандеру; о первом из них, об его письме к нему — он не заикнулся: это имя обожгло бы его губы. Но в то время только что появилась — в одном заграничном издании — статья Искандера, в которой он, по поводу пресловутой «Переписки», упрекал Гоголя в отступничестве от прежних убеждений. Гоголь сам заговорил об этой статье. Из его писем, напечатанных после его смерти (о, какую услугу оказал бы ему издатель, если б выкинул из них целые две трети или по крайней мере все те, которые писаны к светским дамам... более противной смеси гордыни и подыскивания, ханжества и тщеславия,

пророческого и прихлебательского тона — в литературе не существует!), — из писем Гоголя мы знаем, какую неизлечимой раной залегло в его сердце полное фиаско его «Переписки» — это фиаско, в котором нельзя не приветствовать одно из немногих утешительных проявлений тогдашнего общественного мнения. И мы с покойным

**М. С. Щепкиным** были свидетелями — в день нашего посещения, — до какой степени эта рана наболела. Гоголь начал уверять нас — внезапно изменившимся, торопливым голосом, — что не может понять, почему в прежних его сочинениях некоторые люди находят какую-то оппозицию, что-то такое, чему он изменил впоследствии; что он всегда придерживался одних и тех же религиозных и охранительных начал — и, в доказательство того, готов нам указать на некоторые места в одной своей, уже давно напечатанной, книге... Промолвив эти слова, Гоголь с почти юношеской живостью вскочил с дивана и побежал в соседнюю комнату. Михаил Семеныч только брови возвел горн — и указательный палец поднял... «Никогда таким его не видал», — шепнул он мне...

---

Гоголь вернулся с томом «Арабесок» в руках и начал читать на выдержку некоторые места одной из тех детски напыщенных и утомительно-пустых статей, которыми пополнен этот сборник. Помнится, речь шла о необходимости строгого порядка, безусловного повиновения властям и т. п. «Вот видите, — твердил Гоголь, — я и прежде всегда то же думал, точно такие же высказывал убеждения, как и теперь!.. С какой же стати упрекать меня в измене, в отступничестве... Меня?» — И это говорил автор «Ревизора», одной из самых отрицательных комедий, какие когда-либо являлись на сцене! Мы со Щепкиным молчали. Гоголь бросил наконец книгу на стол и снова заговорил об искусстве, о

театре; объявил, что остался недоволен игрою актеров в «Ревизоре», что они «тон потеряли» и что он готов им прочесть всю пьесу с начала до конца. Щепкин ухватился за это слово и тут же уладил, где и когда читать. Какая-то старая барыня приехала к Гоголю; она привезла ему просфору с вынутой частицей. Мы удалились.

Дня через два происходило чтение «Ревизора» в одной из зал того дома, где проживал Гоголь. Я выпросил

60

разрешение присутствовать на этом чтении. Покойный профессор Шевырев также был в числе слушателей и — если не ошибаюсь — Погодин. К великому моему удивлению, далеко не все актеры, участвовавшие в «Ревизоре», явились на приглашение Гоголя; им показалось обидным, что их словно хотят учить? Ни одной актрисы также не приехало. Сколько я мог заметить, Гоголя огорчил этот неохотный и слабый отзыв на его предложение... Известно, до какой степени он скупился на подобные милости. Лицо его приняло выражение угрюмое и холодное; глаза подозрительно насторожились. В тот день он смотрел точно больным человеком. Он принялся читать — и понемногу оживился. Щеки покрылись легкой краской, глаза расширились и просветлели. Читал Гоголь превосходно... Я слушал его тогда в

первый — и в последний раз. Диккенс, также превосходный чтец, можно сказать, разыгрывает свои романы, чтение его — драматическое, почти театральное; в одном его лице является несколько первоклассных актеров, которые заставляют вас то смеяться, то плакать; Гоголь, напротив, поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет, есть ли тут слушатели и что они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет для него самого новый и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный — особенно в комических, юмористических местах; не было возможности не смеяться — хорошим, здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренне дивясь ей, всё более и более погружаться в самое дело — и лишь изредка, на губах и около глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка мастера. С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу Городничего о двух крысах (в самом начале пьесы): «Пришли, понюхали и пошли прочь!» — Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия. Я только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием только поскорей насмешить обыкновенно разыгрывается на сцене «Ревизор». Я сидел, погруженный в радостное умиление: это был для меня настоящий пир и



праздник. К сожалению, он продолжался недолго. Гоголь еще не успел прочесть

62

половину первого акта, как вдруг дверь шумно отворилась и, торопливо улыбаясь и кивая головою, промчался через всю комнату один еще очень молодой, но уже необыкновенно назойливый литератор — и, не сказав никому ни слова, поспешил занять место в углу. Гоголь остановился; с размаху ударил рукой по звонку и с сердцем заметил вошедшему камердинеру: «Ведь я велел тебе никого не впускать!» Молодой литератор слегка пошевелился на стуле — а впрочем, не смутился нисколько. Гоголь отпил немного воды — и снова принялся читать; но уж это было совсем не то. Он стал спешить, бормотать себе под нос, не доканчивать слов; иногда он пропускал целые фразы — и только махал рукою. Неожиданное появление литератора его расстроило: нервы его, очевидно, не выдерживали малейшего толчка. Только в известной сцене, где Хлестаков завирается, Гоголь снова ободрился и возвысил голос: ему хотелось показать актеру, исполнявшему роль Ивана Александровича, как должно передавать это действительно затруднительное место. В чтении Гоголя оно показалось мне естественным и правдоподобным. Хлестаков увлечен и странностью своего положения, и окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью; он и знает, что врет, — и верит своему вранью: это нечто вроде

упоения, наития, сочинительского восторга — это не простая ложь, не простое хвастовство. Его самого «подхватило». «Просители в передней жужжат, 35 тысяч эстафетов скачет — а дурачье, мол, слушает, развесив уши, и какой я, мол, бойкий, игривый, светский молодой человек!» Вот какое впечатление производил в устах Гоголя хлестаковский монолог. Но, вообще говоря, чтение «Ревизора» в тот день было — как Гоголь сам выразился — не более как намек, эскиз; и всё по милости непрошеного литератора, который простер свою нецеремонность до того, что остался после всех у побледневшего, усталого Гоголя и втерся за ним в его кабинет. В сенях я расстался с ним и уже никогда не увидал его больше; но его личности было еще суждено возыметь значительное влияние на мою жизнь.



В последних числах февраля месяца следующего 1852 года я находился на одном утреннем заседании вскоре потом погибшего общества посещения бедных —

в зале Дворянского собрания — и вдруг заметил И. И. Панаева, который с судорожной поспешностью перебегал от одного лица к другому, очевидно, сообщая каждому из них неожиданное и невеселое известие, ибо у каждого лицо тотчас выражало удивление и печаль. Панаев, наконец, подбежал и ко

мне — и с легкой улыбочкой, равнодушным тоном промолвив: «А ты знаешь, Гоголь помер в Москве. Как же, как же... Все бумаги сжег — да помер», — помчался далее. Нет никакого сомнения, что как литератор Панаев внутренне скорбел о подобной утрате — притом же и сердце он имел доброе, — но удовольствие быть первым человеком, сообщаящим другому огорошивающую новость (равнодушный тон употреблялся для большего форсу), — это удовольствие, эта радость заглушали в нем всякое другое чувство. Уж несколько дней в Петербурге ходили темные слухи о болезни Гоголя; но такого исхода никто не ожидал. Под первым впечатлением сообщенного мне известия я написал следующую небольшую статью.

### Письмо из Петербурга\*

Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова? Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам всё еще не хочется ей верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит наконец свое долгое молчание, что он обрадуется, превзойдет наши нетерпеливые ожидания, — пришла эта роковая весть! Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертью, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся как одной из слав наших! Он умер, пораженный в самом цвете лет, в разгаре сил

---

\* «Московские ведомости» 1852 года, марта 13-го, № 32, стр. 328 и 329.

своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его предшественников... Его утрата возобновляет скорбь о тех незабвенных утратах, как новая рана возбуждает боль старинных язв. Не время теперь и не место говорить об его заслугах — это дело будущей критики; должно надеяться, что она поймет свою задачу и оценит его тем беспристрастным, но исполненным уважения и любви судом, которым подобные ему люди судятся перед лицом

64

потомства; нам теперь не до того: нам только хочется быть одним из отголосков той великой скорби, которую мы чувствуем разлитую повсюду вокруг нас; не оценивать его нам хочется, но плакать; мы не в силах говорить теперь спокойно о Гоголе... самый любимый, самый знакомый образ неясен для глаз, орошенных слезами... В день, когда его хоронит Москва, нам хочется протянуть ей отсюда руку — соединиться с ней в одном чувстве общей печали. Мы не могли взглянуть в последний раз на его безжизненное лицо; но мы шлем ему издалека наш прощальный привет — и с благоговейным чувством слагаем дань нашей скорби и нашей любви на его свежую могилу, в которую нам не удалось, подобно москвичам, бросить горсть родимой земли! Мысль, что прах его будет покоиться в Москве, наполняет нас каким-то горестным удовлетворением. Да, пусть он покоится там, в этом сердце России, которую он так глубоко знал и так любил, так

горячо любил, что одни легкомысленные или близорукие люди не чувствуют присутствия этого любовного пламени в каждом им сказанном слове! Но невыразимо тяжело было бы нам подумать, что последние, самые зрелые плоды его гения погибли для нас невозвратно, — и мы с ужасом внимаем жестоким слухам об их истреблении...

Едва ли нужно говорить о тех немногих людях, которым слова наши покажутся преувеличенными или даже вовсе неуместными... Смерть имеет очищающую и примиряющую силу; клевета и зависть, вражда и недоразумения — всё смолкает перед самую обыкновенною могилой: они не заговорят над могилою Гоголя. Какое бы ни было окончательное место, которое оставит за ним история, мы уверены, что никто не откажется повторить теперь же вслед за нами:

Мир его праху, вечная память его жизни, вечная слава его имени!

*Т....в.\**

65

Я препроводил эту статью в один из петербургских журналов; но именно в то время цензурные строгости стали весьма усиливаться с

---

\* По поводу этой статьи (о ней тогда же кто-то весьма справедливо сказал, что нет богатого купца, о смерти которого журналы не отозвались бы с большим жаром) мне вспоминается следующее: одна очень высокопоставленная дама — в Петербурге — находила, что наказание, которому я подвергся за эту статью, было незаслуженно — и во всяком случае слишком строго, жестоко... Словом, она горячо заступалась за меня. «Но ведь вы не знаете, — доложил ей кто-то, — он в своей статье называет Гоголя великим человеком!» — «Не может быть!» — «Уверяю вас». — «А! в таком случае я ничего не говорю: je regrette, mais je comprends qu'on ait de s'invir. <я сожалею, но я понимаю, что следовало строго наказать (франц.)>

некоторых пор... Подобные «crescendo» происходили довольно часто и — для постороннего зрителя — так же беспричинно, как, например, увеличение смертности в эпидемиях. Статья моя не появилась ни в один из последовавших за тем дней. Встретившись на улице с издателем, я спросил его, что бы это значило? «Видите, какая погода, — отвечал он мне иносказательною речью, — и думать нечего». — «Да ведь статья самая невинная», — заметил я. «Невинная ли, нет ли, — возразил издатель, — дело не в том; вообще имя Гоголя не велено упоминать. Закревский на похоронах в андреевской ленте присутствовал: этого здесь переварить не могут». Вскоре потом я получил от одного приятеля из Москвы письмо, наполненное упреками: «Как! — восклицал он, — Гоголь умер, и хоть бы один журнал у вас в Петербурге отозвался? Это молчание постыдно!» В ответе моем я объяснил — сознаюсь, в довольно резких выражениях — моему приятелю причину этого молчания и в доказательство как документ приложил мою запрещенную статью. Он ее представил немедленно на рассмотрение тогдашнего попечителя Московского округа — генерала Назимова — и получил от него разрешение напечатать ее в «Московских ведомостях». Это происходило в половине марта, а 16 апреля я — заслушание и нарушение цензурных правил — был посажен на месяц под арест в части (первые двадцать четыре часа я провел в сибирке и беседовал с изысканно вежливым и образованным полицейским унтер-офицером, который

рассказывал мне о своей прогулке в Летнем саду в об «аромате птиц»), а потом отправлен на жительство в деревню. Я нисколько не намерен обвинять тогдашнее правительство; попечитель С.-Петербургского округа, теперь уже покойный Мусин-Пушкин, представил — из неизвестных мне видов — всё дело, как явное неповиновение с моей стороны; он не поколебался заверить высшее начальство, что *он призывал меня лично, и лично передал мне запрещение цензурного комитета печатать мою статью* (одно цензорское запрещение не могло помешать мне — в силу существовавших постановлений —

66

подвергнуть статью мою суду другого цензора), *а я г. Мусина-Пушкина и в глаза не видел и никакого с ним объяснения не имел.* Нельзя же было правительству подозревать садовника, доверенное лицо, в подобном искажении истины! Но всё к лучшему; пребывание под арестом, а потом в деревне принесло мне несомненную пользу: оно сблизило меня с такими сторонами русского быта, которые, при обыкновенном ходе вещей, вероятно, ускользнули бы от моего внимания.

---

Уже дописывая предыдущую строку, я вспомнил, что первое мое свидание с Гоголем происходило гораздо раньше, чем я сказал вначале. А именно: я был одним из его слушателей в 1835 году, когда он

преподавал (!) историю в С.–Петербургском университете. Это преподавание, правду сказать, происходило оригинальным образом. Во–первых, Гоголь из трех лекций непременно пропускал две; во–вторых, даже когда он появлялся на кафедре, — он не говорил, а шептал что–то весьма несвязное, показывал нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран, и всё время ужасно конфузился. Мы все были убеждены (и едва ли мы ошибались), что он ничего не смыслит в истории — и что г. *Гоголь–Яновский*, наш профессор (он так именовался в расписании лекций), не имеет ничего общего с писателем Гоголем, уже известным нам как автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки». На выпускном экзамене из своего предмета он сидел, повязанный платком, якобы от зубной боли — с совершенно убитой физиономией — и не разевал рта. Спрашивал студентов за него профессор И. П. Шульгин. Как теперь вижу его худую, длинноносую фигуру с двумя высоко торчавшими — в виде ушей — концами черного шелкового платка. Нет сомнения, что он сам хорошо понимал весь комизм и всю неловкость своего положения: он в том же году подал в отставку. Это не помешало ему, однако, воскликнуть: «Непризнанный взошел я на кафедру — и непризнанный схожу с нее!» Он был рожден для того, чтоб быть наставником своих современников; но только не с кафедры.

---



В предыдущем (первом) отрывке я упомянул о моей встрече с Пушкиным; скажу кстати несколько слов и о других, теперь уже умерших, литературных знаменитостях, которые мне удалось видеть. Начну с Жуковского. Живя — вскоре после двенадцатого года — в своей деревне в Белевском уезде, он несколько раз посетил мою матушку, тогда еще девицу, в ее Мценском имении; сохранилось даже предание, что он в одном домашнем спектакле играл роль волшебника, и чуть ли не видел я самый колпак его с золотыми звездами в кладовой родительского дома. Но с тех пор прошли долгие годы — и, вероятно, из памяти его изгладилось самое воспоминание о деревенской барышне, с которой он познакомился случайно и мимоходом. В год переселения нашего семейства в Петербург — мне было тогда 16 лет — моей матушке вздумалось напомнить о себе Василию Андреевичу. Она вышила ко дню его именин красивую бархатную подушку и послала меня с нею к нему в Зимний дворец. Я должен был назвать себя, объяснить, чей я сын, и поднести подарок. Но когда я очутился в огромном, до тех пор мне незнакомом дворце; когда мне пришлось пробираться по длинным каменным коридорам, подниматься на каменные лестницы, то и дело натыкаясь на неподвижных, словно тоже каменных, часовых; когда я, наконец, отыскал квартиру Жуковского и очутился перед трехаршинным красным лакеем с галунами по всем швам и орлами на галунах, — мною овладел такой

трепет, я почувствовал такую робость, что, представ в кабинет, куда пригласил меня красный лакей и где из-за длинной конторки глянуло на меня задумчиво-приветливое, но важное и несколько изумленное лицо самого поэта, — я, несмотря на все усилия, не мог произнести звука: язык, как говорится, прильпе к гортани — и, весь сгорая от стыда, едва ли не со слезами на глазах, остановился как вкопанный на пороге двери и только протягивал и поддерживал обеими руками — как младенца при крещении — несчастную подушку, на которой, как теперь помню, была изображена девица в средневековом костюме, с попугаем на плече. Смущение мое, вероятно, возбудило чувство жалости в доброй душе Жуковского; он подошел ко мне, тихонько взял у меня подушку, попросил меня сесть и снисходительно заговорил со мною. Я объяснил ему, наконец, в чем было дело — и, как только мог, бросился бежать.

68

Уже тогда Жуковский, как поэт, потерял в глазах моих прежнее значение; но все-таки я радовался нашему, хотя и неудачному свиданию и, придя домой, с особенным чувством припоминал его улыбку, ласковый звук его голоса, его медленные и приятные движения. Портреты Жуковского почти все очень похожи; физиономия его не была из тех, которые уловить трудно, которые часто меняются. Конечно, в 1834 году в нем и следа не оставалось того болезненного юноши, каким представлялся

воображению наших отцов «Певец в стане русских воинов»; он стал осанистым, почти полным человеком. Лицо его, слегка припухлое, молочного цвета, без морщин, дышало спокойствием; он держал голову наклонно, как бы прислушиваясь и размышляя; тонкие, жидкие волосы всходили косицами на совсем почти лысый череп; тихая благодать светилась в углубленном взгляде его темных, на китайский лад приподнятых глаз, а на довольно крупных, но правильно очерченных губах постоянно присутствовала чуть заметная, но искренняя улыбка благоволения и приветия. Полувосточное происхождение его (мать его была, как известно, турчанка) сказывалось во всем его облике.

---

Несколько недель спустя меня еще раз свел к нему старинный приятель нашего семейства, Воин Иванович Губарев, замечательное, типическое лицо. Небогатый помещик Кромского уезда, Орловской губернии, он во время ранней молодости находился в самой тесной связи с Жуковским, Блудовым, Уваровым; он в их кружке был представителем французской философии, скептического, энциклопедического элемента, рационализма, словом, XVIII века. Губарев превосходно говорил по-французски, Вольтера знал наизусть и ставил выше всего на свете; других сочинителей он едва ли читал; склад его ума был чисто французский, дореволюционный, спешу прибавить. Я до сих пор помню его почти постоянный, громкий и холодный

смех, его развязные, слегка цинические суждения и выходки. Уже одна его наружность осуждала его на одинокую и независимую жизнь; это был человек весьма собою некрасивый, толстый, с огромной головой и рябинами по всему лицу. Долгое пребывание в провинции наложило на него наконец свою печать; но он остался «типом» до конца, и до конца, под бледным

69

казакином мелкого дворянчика, носящего дома смазные сапоги, сохранил свободу, и даже изящество манер. Я не знаю причины, почему он не пошел в гору, не составил себе карьеры, как его товарищи. Вероятно, в нем не было надлежащей настойчивости, не было честолюбия: оно плохо уживается с тем полуравнодушным, полунасмешливым эпикуреизмом, который он заимствовал от своего образца — Вольтера; а таланта литературного он в себе не признавал; фортуна ему не улыбнулась — он так и стушевался, заглох, стал бобылем. Но любопытно было бы проследить, как этот закоренелый вольтерианец в молодости обходился с своим приятелем, будущим «балладником» и переводчиком Шиллера! Большого противоречия и придумать нельзя; но сама жизнь есть не что иное, как постоянно побеждаемое противоречие.

Жуковский — в Петербурге — вспомнил старого приятеля и не забыл, чем можно было его порадовать: подарил ему новое, прекрасно

переплетенное собрание полных сочинений Вольтера. Говорят, незадолго до смерти — а Губарев жил долго — соседи видали его в его полуразрушенной хижинке, сидевшего за убогим столом, на котором лежал подарок его знаменитого друга. Он бережно переворачивал золотообрезные листья любимой книги — и в глуши степного захолустья, искренно, как и в дни молодости, тешился остротами, которыми забавлялись некогда Фридрих Великий в Сан-Суси и Екатерина Вторая в Царском Селе. Другого ума, другой поэзии, другой философии для него не существовало. Это, разумеется, не мешало ему носить на шее целую кучу образов и ладанок — и состоять под командой безграмотной ключницы... Логика противоречий!

С Жуковским я больше не встречался.

---

Крылова я видел всего один раз — на вечере у одного чиновного, но слабого петербургского литератора. Он просидел часа три с лишком неподвижно между двумя окнами — и хоть бы слово промолвил! На нем был просторный поношенный фрак, белый шейный платок; сапоги с кисточками облекали его тучные ноги. Он опирался обеими руками на колени — и даже не поворачивал своей колоссальной, тяжелой и величавой головы;

только глаза его изредка двигались под нависшими бровями. Нельзя было понять: чтч он, слушает ли и

на ус себе мотает, или просто *так* сидит и «существует»? Ни сонливости, ни внимания на этом обширном, прямо русском лице — а только ума палата, да заматерелая лень, да по временам что-то лукавое словно хочет выступить наружу и не может — или не хочет — пробиться сквозь весь этот старческий жир... Хозяин, наконец, попросил его пожаловать к ужину. «Поросенок под хреном для вас приготовлен, Иван Андреич», — заметил он хлопотливо и как бы исполняя неизбежный долг. Крылов посмотрел на него не то приветливо, не то насмешливо... «Так-таки непременно поросенок?» — казалось, внутренно промолвил он — грузно встал и, грузно шаркая ногами, пошел занять свое место за столом.

---

Лермонтова я тоже видел всего два раза: в доме одной знатной петербургской дамы, княгини Ш...ой, и несколько дней спустя, на маскараде в Благородном собрании под новый, 1840 год. У княгини Ш...ой я, весьма редкий и непривычный посетитель светских вечеров, лишь издали, из уголка, куда я забился, наблюдал за быстро вошедшим во славу поэтом. Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц, белокурая графиня М. П. — рано погибшее, действительно прелестное создание. На Лермонтове был мундир лейб-гвардии гусарского полка; он не снял ни сабли, ни перчаток — и, сгорбившись и насупившись, угрюмо

посматривал на графиню. Она мало с ним разговаривала и чаще обращалась к сидевшему рядом с ним графу Ш...у, тоже гусару. В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий. Известно, что он до некоторой степени изобразил самого себя в Печорине.

71

Слова: «Глаза его не смеялись, когда он смеялся»<sup>\*</sup> и т. д. — действительно, применялись к нему. Помнится, граф Ш. и его собеседница внезапно засмеялись чему-то и смеялись долго; Лермонтов также засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением оглядывал их обоих. Несмотря на это, мне все-таки казалось, что и графа Ш...а он любил как товарища, и к графине питал чувство дружелюбное. Не было сомнения, что он, следуя тогдашней моде, напустил на себя известного рода байроновский жанр, с примесью других, еще худших капризов и чудачеств. И дорого же он поплатился за них! Внутренне Лермонтов, вероятно, скучал

---

<sup>\*</sup> «Герой нашего времени», стр. 280. Сочинения Лермонтова, изд. 1860 г.

глубоко; он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба. На бале Дворянского собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи:

Когда касаются холодных рук моих  
С небрежной смелостью красавиц  
городских  
Давно бестрепетные руки... и т. д.

---

Скажу кстати два слова еще об одном умершем литераторе, хотя он и принадлежит к «*diis minorum gentium*»<sup>1</sup> и уже никак не может стать наряду с поименованными выше, — а именно о М. Н. Загоскине. Он был коротким приятелем моего отца и в тридцатых годах, во время нашего пребывания в Москве, почти ежедневно посещал наш дом. Его «Юрий Милославский» был первым сильным литературным впечатлением моей жизни. Я находился в пансионе некоего г. Вейденгаммера, когда появился знаменитый роман; учитель русского языка — он же и классный надзиратель — рассказал в часы рекреаций моим товарищам и мне его содержание. С каким пожирающим вниманием

---

<sup>1</sup> младшим богам (*лат.*).



мы слушали похождения Кирши, слуги Милославского, Алексея, разбойника

72

Омляша! Но странное дело! «Юрий Милославский» казался мне чудом совершенства, а на автора его, на М. Н. Загоскина, я взирал довольно равнодушно. За объяснением этого факта ходить недалеко: впечатление, производимое Михаилом Николаевичем, не только не могло усилить те чувства поклонения и восторга, которые возбуждал его роман, но напротив — оно должно было ослабить их. В Загоскине не проявлялось ничего величественного, ничего фатального, ничего такого, что действует на юное воображение; говоря правду, он был даже довольно комичен, а редкое его добродушие не могло быть надлежащим образом оценено мною: *это* качество не имеет значения в глазах легкомысленной молодежи. Самая фигура Загоскина, его странная, словно сплюснутая голова, четырехугольное лицо, выпученные глаза под вечными очками, близорукий и тупой взгляд, необычайные движения бровей, губ, носа, когда он удивлялся или даже просто говорил, внезапные восклицания, взмахи рук, глубокая впадина, разделявшая надвое его короткий подбородок, — всё в нем мне казалось чудаковатым, неуклюжим, забавным. К тому же за ним водились три, тоже довольно комические, слабости: он воображал себя необыкновенным силачом;\* он был уверен, что

---

\* Легенда о его силе проникла даже за границу. На одном публичном чтении в

никакая женщина не в состоянии устоять перед ним; и, наконец (и это в таком рьяном патриоте было особенно удивительно), он питал несчастную слабость к французскому языку, который коверкал без милости, беспрестанно смешивая числа и роды, так что даже получил в нашем доме прозвище: «Monsieur l'article». Со всем тем нельзя было не любить Михаила Николаевича за его золотое сердце, за ту безыскусственную откровенность нрава, которая поражает в его сочинениях.

---

Последнее мое свидание с ним было печально. Я навел его много лет спустя — в Москве, незадолго перед

73

его смертью. Он уже не выходил из своего кабинета и жаловался на постоянную боль и ломоту во всех членах. Он не похудел, но мертвенная бледность покрывала его всё еще полные щеки, придавая им тем более унылый вид. Взмахи бровей и таращенье глаз остались те же; невольный комизм этих движений только усугублял чувство жалости, которую возбуждала вся фигура бедного сочинителя, явно клонившаяся к разрушению. Я заговорил с ним об его литературной деятельности,

---

Германии я, к удивлению моему, услышал балладу, в которой описывалось, как в столицу Московии прибыл геркулес Раппо и, давая представления на театре, всех вызывал и всех побеждал; как внезапно, среди зрителей, не вытерпев посрамления соотечественников, поднялся *der russische Dichter; stehet auf der Zagoskin!*<sup>1</sup> (с ударением на *кин*) — как он сразился с Раппо и, победив его, удалился скромно и с достоинством.

<sup>1</sup> русский писатель; встает Загоскин! (нем.).

о том, что в петербургских кружках снова стали ценить его заслуги, отдавать ему справедливость; упомянул о значении «Юрия Милославского» как народной книги... Лицо Михаила Николаевича оживилось. «Ну, спасибо, спасибо, — сказал он мне, — а я уже думал, что я забыт, что нынешняя молодежь в грязь меня втоптала и бревном меня накрыла». (Со мной Михаил Николаевич не говорил по-французски, а в русском разговоре он любил употреблять выражения энергические.) «Спасибо», — повторил он, не без волнения и с чувством пожав мне руку, точно я был причиною того, что его не забыли. Помнится, довольно горькие мысли о так называемой литературной известности пришли мне в голову тогда. Внутренно я почти упрекнул Загоскина в малодушии. Чему, думал я, радуется человек? Но отчего же было ему и не радоваться? Он услышал от меня, что не совсем умер... а ведь горше смерти для человека нет ничего. Иная литературная известность может, пожалуй, дожить до того, что и этой ничтожной радости не узнает. За периодом легкомысленных восхвалений последует период столь же мало осмысленной брани, а там — безмолвное забвение... Да и кто из нас имеет право не быть забытым — право отягощать своим именем память потомков, у которых свои нужды, свои заботы, свои стремления?

А все-таки я рад, что я, совершенно случайно, доставил доброму Михаилу Николаевичу, перед концом его жизни, хотя мгновенное удовольствие.

